Политическая система при Сталине: взгляд российского и немецкого историков

Антон Короленков

В последнее время не иссякает поток работ, посвящённых политической системе сталинского времени. И дело не только в актуальности темы и обилии архивных источников (даже в условиях сокращения доступа к ним) – требуется их дальнейшее научное осмысление. Обратимся к трудам двух историков, немецкого и российского, в первом из которых рассматривается один из важнейших аспектов системы, а во втором – её становление в целом.

Тема книги Лоренца Эррена, основанной на материалах московских и воронежских архивов, которая обозначена в её названии «Самокритика и признание вины. Коммуникация и господство при Сталине (1917–1953)», до сих пор ещё не получила должного освещения. Поскольку более или менее чётко доктрина этой практики не формулировалась, то при её исследовании нелегко найти надёжный отправной пункт[1]. Эррен считает, что признание вины в сталинском варианте не восходит изначально к русскому, христианскому, интеллигентскому или большевистскому «культурному коду», как порой утверждается в литературе, а является изобретением 1920–1930-х гг. (S. 25–26).

В первой главе (S. 33–92) автор отмечает, что хотя русские коммунисты (точнее, заметим, члены РКП(б), что не одно и то же) не особенно уважали демократические принципы, до X съезда партии у них сохранялись различные фракции и платформы. Долгое время на поведение членов ЦК и Политбюро влияло сознание опасности решительного разрыва между руководителями революции. Автор отмечает, что «Ленин, который во время голосований по важнейшим вопросам постоянно обеспечивал себе большинство, признавал [право на] существование оппонентов при голосовании и лишь изредка демонстрировал стремление вытеснить их из центральных органов. Практика тех лет подразумевала своего рода иммунитет фракционного меньшинства: большинство отказывалось от того, чтобы впоследствии мстить своим временным оппонентам. Только введённый на X съезде партии запрет на создание фракций привёл в долгосрочной перспективе к отмене принципа иммунитета и создал условия для культуры политического признания вины» (S. 33–34).

Уже на XI съезде был исключён из партии член «рабочей оппозиции» Митин, а её руководители получили строгое предупреждение. Позднее исключили из партии, а вскоре арестовали за оппозиционную деятельность Г.И. Мясникова. С этим связан первый зафиксированный случай признания партийцами ошибок: исключенные сторонники Мясникова И.Н. Странев и М.П. Копысов после публичного «покаяния» были восстановлены в рядах партии решением Центральной контрольной комиссии. Вероятно, инициатива признания ошибок исходила от них самих, и к тому же решающую роль в восстановлении сыграло их пролетарское происхождение и многолетнее членство в партии, «однако партийное руководство сочло, что индивидуальное признание ошибок может

© 2013 г. А.В. Короленков

[1] *Erren L.* «Selbstkritik» und Schuldbekenntnis. Kommunikation und Herrschaft unter Stalin (1917–1953). München, 2008. S. 11. Далее ссылки на книгу даются в тексте.

послужить действенным средством в борьбе против оппозиции» (S. 42). И когда исключение из партии членов «рабочей оппозиции» продолжилось, то не обошлось без их заявлений «о полном раскаянии». Но потребовалось ещё несколько лет, прежде чем эта процедура стала рутинной.

Перелом произошёл только в 1926 г. во время борьбы против «объединённой оппозиции». 16 октября 1926 г. Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Г.Л. Пятаков и Г.Я. Сокольников под давлением обстоятельств подписали заявление в ЦК ВКП(б) с обещанием прекратить фракционную борьбу и соблюдать партийную дисциплину, явившееся важной вехой в истории официальных признаний вины, которые теперь становятся обязательными при исключении и восстановлении в её рядах (S. 35–59).

Дальнейшее развитие эта процедура получает на XV съезде партии, когда руководители оппозиции Зиновьев, Г.Е. Евдокимов и 20 их видных сторонников выступили с заявлением о том, что готовы отказаться от фракционной деятельности и поддерживать ЦК. Однако большинство крупных оппозиционеров не захотели отрекаться от своих взглядов и просить пощады, а И.Т. Смилга даже выступил накануне голосования с вызывающим заявлением от имени нескольких из них о том, что их взгляды являются «большевистскими, ленинскими», а потому они не могут от них отречься[2]. Не собирался делать это и Троцкий, осудивший поведение Зиновьева и Каменева как «совершенно небывалый случай в истории революционного движения», поскольку «такого рода поведение содействует не сохранению единства партии, а её деморализации», позволяя «оправдать тот широкий слой развращённой партийной обывательщины, которая сочувствует оппозиции, а голосует с большинством»[3]. По мнению Эррена, из рассуждений Троцкого вытекало, что коль скоро Сталин «лишил меньшинство иммунитета, оно теперь не обязано безусловно подчиняться всем решениям партии». Большинство голосовавших оказалось коллективным заложником, которое, боясь раскола, принимало сторону руководства (S. 62–63).

Прошло всего два года, и бывшим союзникам Сталина Н.И. Бухарину, А.И. Рыкову и М.П. Томскому самим пришлось признавать свои «ошибки» и смиряться с политическим поражением. При этом «речь шла скорее о дальнейшем развитии, чем о повторении методов борьбы. Сторонники правого уклона изо всех сил старались отстаивать те самые нормы, которые утверждали вместе со Сталиным во время предшествующего конфликта», отказавшись от создания фракции.

Признавать ошибки пришлось и куда более благонадёжным. На основе архивных документов Эррен излагает историю с первым секретарём МК ВКП(б) К.Я. Бауманом. Тот рьяно взялся за проведение коллективизации, а после статьи Сталина «Головокружение от успехов» возглавляемый им пленум МК недостаточно, по мнению генсека, осудил допущенные ошибки. Баумана вызвали на Политбюро, в результате чего тот написал заявление с просьбой об освобождении от должности. Её удовлетворили и даже назначили Баумана секретарём ЦК, но вскоре Молотов устроил ему «проработку» на апрельском пленуме МК, указав, что тот должен был во главе МК повести борьбу с «искривлениями парт-

---

[2] Стоит отметить, что на это заявление немедленно ответил М.И. Калинин, который утверждал, что «партия никому не позволит издеваться над собой», терпя в своих рядах «обывателей, которые имеют свои взгляды “про себя”, но их не проповедуют» (XV съезд Всесоюзной коммунистической партии (б). Стенографический отчёт. М., 1928. С. 1251).

[3] Архив Троцкого. Т. 1. Харьков, 1999. С. 369–370.

линии», а вместо этого смягчает допущенные в работе недостатки. Бауману пришлось вновь признать собственные ошибки, указав среди прочего, что своими действиями он пытался защитить МК, но теперь понимает, что авторитет партийного комитета может основываться только на основе большевистской самокритики. «Упоминая лозунг “большевистской самокритики”, Бауман лишний раз подчёркивал, что его признание ошибок нельзя сравнивать с “капитуляцией” троцкистов», – пишет Эррен. Однако у этого обстоятельства, проницательно замечает исследователь, была оборотная сторона: тем самым Бауман «выступал в роли лояльного исполнителя приказов, а не имеющего право голоса политика. Его “позитивное” признание ошибок более не было капитуляцией, поскольку как полноправный гражданин он капитулировал уже давно» (S. 87–92).

Во второй главе Эррен указывает, что понятие «самокритика», которое он не отождествляет с «признанием ошибок», Сталин впервые употребил в декабре 1927 г. на XV съезде ВКП(б). «Вопреки распространённому мнению, “самокритика” развилась не из традиционного партийного ритуала, но из практических форм контроля и жалоб, как они вырабатывались в жизни советских предприятий», из «духа стенгазеты» (S. 100–101). «Наряду с принуждением к покорности требование конструктивной “самокритики” являлось важнейшей причиной возникновения культуры признания ошибок по-сталински». Осуждалась нетерпимость руководителей к критике, место которой занимали «бумажность», «декларативность», «аллилуйщина». В идеале предполагалось, что лояльные граждане, особенно рабочие и партийцы («пролетарская общественность»), на заводских и партийных собраниях указывают на конкретные «недочёты», «безобразия», «недоразумения», случавшиеся по вине тех или иных чиновников, на что предполагалось реагировать конструктивно, совместно с критиками вырабатывая меры по устранению недостатков. Смысл этого, естественно, состоял в том, чтобы отвести критику от режима как такового. При «самокритике» «разница в положении между членами партии и беспартийными объявлялась не имеющей значения, легитимность установившейся иерархии, казалось бы, ставилась под вопрос» (S. 93–97).

Но на что было всё это направлено на деле? По мнению Эррена, режим руководствовался принципом «опережающего повиновения», при котором воля властей могла непосредственно влиять на общество небюрократическими методами. Именно в рамках последних «самокритика» должна была воспрепятствовать «отрыву от масс» аппарата, поскольку связь с ними являлась одной из важнейших задач Сталина (мнение, прямо скажем, весьма спорное и нуждающееся в конкретизации). При этом если от оппозиционеров требовалось, чтобы они «капитулировали», отказавшись от проявления своей воли в любых формах, то «“самокритика” была, наоборот, направлена против тех, кто не имел возможности, желания или мужества открыто бороться против линии партии» – «бюрократов», «оппортунистов», «нездоровых элементов» (S. 131–133).

В третьей главе рассматривается «унификация[4] духовной жизни» (S. 135–178). В 1920-х гг. многие писатели попадают в поле зрения Политбюро. Одним из первых мастеров слова, подвергшихся крепкой «проработке», стал Борис Пильняк, за свою «Повесть непогашенной луны» на некоторое время лишённый возможности печататься (досталось даже Горькому, когда он попытался за

[4] Автор для наглядности использует понятие «Gleichschaltung», взятое из нацистской терминологии.

него вступиться). После того как Пильняк «покаялся» и признал свой рассказ «бестактным», власти сменили гнев на милость, а в 1931 г. в условиях новых гонений на него[5], он обратился с письмом к Сталину, в котором делился впечатлениями от поездки в Среднюю Азию, а заодно сообщал об «исправлении» якобы допущенных им ошибок и выражал готовность писать политически полезные сочинения, если ему будут для этого предоставлены благоприятные условия. Сталин дал благосклонный ответ. «Такого рода письма политическим лидерам на рубеже 1920–1930-х гг. ещё не были правилом и должны рассматриваться как часть сознательно избранной стратегии. Письмо Пильняка являло собой шаг в моральном самоотречении, к которому Булгаков, Платонов или Замятин, находившиеся в сравнимой ситуации, ещё не были готовы». Не захотел дистанцироваться от своего рассказа «Голая правда» Артём Весёлый, которому за него грозил расстрелом поэт Иосиф Уткин[6] (S. 137–139).

Любопытно, что руководство Всесоюзной ассоциации пролетарских писателей (ВАПП) «выбросило» лозунг «самокритики» ещё в начале 1926 г., за два года до соответствующей инициативы Сталина, призывая писателей к совершенствованию литературного мастерства. Применительно же к организационным вопросам он прозвучал только летом 1928 г., когда секретарь РАПП А.А. Фадеев повёл речь о необходимости применять «партийный лозунг самокритики» и в области литературы. Между тем секретарь РАПП Л.Л. Авербах ещё в 1927 г., копируя практику ЦК ВКП(б), угрожал исключением неугодных ему литераторов из организации, требуя отказа от фракционной деятельности. Однако его торжество оказалось недолгим – уже в 1932 г. РАПП была распущена, причем одним из поводов для этого явился недостаток «самокритики» в его деятельности. Авербаху, В.М. Киршону и другим деятелям РАПП пришлось самим каяться в ошибках, а присланный из ЦК И.М. Гронский указывал, что они ещё недостаточно преуспели в этом.

Впрочем, кампания признания ошибок 1929–1932 гг. коснулась и куда более высокопоставленных лиц. Признавать ошибки пришлось, например, такому лояльному партийцу, как Е.М. Ярославский, а Л.М. Каганович разъяснял, что ошибка ошибке рознь и не за каждую надо исключать из партии. Эррен отмечает две тактики поведения в таких ситуациях: 1) отказ от своих взглядов как формализованная процедура (так поступил Авербах); эта позиция, однако, могла вызвать неприязнь окружающих; 2) попытка представить своё подчинение как искреннюю перемену в убеждениях и искреннюю попытку усвоить новые взгляды (S. 141–178).

В четвёртой главе (S. 179–326) рассматривается феномен покаяния и самокритики в советском обществе в 1931–1953 гг. Признание ошибок происходило в двух формах: голосование вместе с большинством ради восстановления единства партии (пример – капитуляция троцкистов) и признание ошибок как реакция на замечания сверху (как это имело место с Ярославским). Кампания самокритики достигла пика в 1931 г., в последующие годы этот лозунг встречается намного реже, хотя не исчезает вовсе: в 1933 г. «партийная чистка» была объявлена «выражением большевистской самокритики», упомянута она и в ус-

---

[5] В особенности за рассказ «Красное дерево», который у Эррена ошибочно назван «Красная деревня» (S. 140).

[6] У Эррена вместо Уткина ошибочно назван Илья Вардин (S. 139), который был не поэтом, а критиком. К слову сказать, А.А. Фадеев пожурил Уткина за его выступление, сказав, что его нельзя объяснить ничем, кроме «желания выслужиться» (Литературная газета. 1930. № 5).

таве партии 1934 г. в разделе «О внутрипартийной демократии и партийной дисциплине».

Вторая большая кампания самокритики, тесно связанная с массовыми арестами, прошла в 1936–1938 гг. На сей раз этот лозунг ассоциировался прежде всего с «бдительностью», но также и с «внутрипартийной демократией» в смысле соблюдения процедуры выборов. На февральско-мартовском пленуме 1937 г. Сталин охарактеризовал самокритику как метод, помогающий контролировать, воспитывать кадры и знать о них правду с помощью «масс». В «Кратком курсе» (1938 г.) способности партии к самокритике придавалось решающее значение в её судьбе. В 1939 г. в партийном уставе было впервые чётко зафиксировано право коммунистов критиковать любого партийного функционера и отводить тех или иных кандидатов во время партийных выборов. В годы войны о самокритике речи почти не шло. Однако в 1946 г. она снова стала важнейшим понятием в общественной жизни, в частности, во время «ждановщины» и борьбы с «космополитами», а принцип «самокритики» был впервые интегрирован в марксистско-ленинское учение. Устав партии 1952 г. объявил критику недостатков не только правом, но и обязанностью её членов. После смерти Сталина бывшие сподвижники «вождя» использовали лозунг «самокритики» для постепенного отхода от его политики.

В 1927 г. Сталин охарактеризовал «самокритику» как форму «борьбы между старым и новым», подразумевая, что прежде всего речь идёт о критике «снизу», направленной на борьбу с бюрократией, коррупцией, произволом и злоупотреблениями. Однако позднее стало акцентироваться воспитательное значение «самокритики». При этом, хотя «самокритика» ассоциировалась с коллективными мероприятиями, будь то заводское собрание, избирательная кампания или научная дискуссия, в связанной с нею лексике понятие «коллектив» не находило себе места, и ситуация изменилась только после смерти Сталина, когда «самокритика» стала рассматриваться как средство воспитания «социалистического коллективизма» (S. 179–186).

Признание ошибок всё более ритуализировалось, росло число прегрешений, за которые приходилось каяться. В 1933 г. Зиновьев и Каменев написали покаянные письма Сталину, которые затем напечатали в «Правде». Им и другим бывшим оппозиционерам пришлось заниматься самобичеванием и на XVII съезде. Речи «провинившихся» были уснащены религиозной лексикой – В.В. Ломинадзе говорил «о своём величайшем грехе», К.Б. Радек характеризовал себя и своих товарищей по несчастью как «согрешников», и т.д. В 1935 г. удар обрушился уже отнюдь не на оппозиционера – на А.С. Енукидзе, который, однако, не проявил готовности к решительному самоосуждению. Здесь речь шла о сценарии «самокритики сверху». Но особенно примечательным оказался обильный «проработками» февральско-мартовский пленум ЦК ВКП(б) 1937 г. Эррен сравнивает его с апрельским пленумом 1928 г.: тогда попытка Кагановича самокритично оценить свою работу вызвала ироническую реакцию (как сказал Ворошилов, «не занимайся самобичеванием»), в 1937-м же каявшиеся напоминали «плохого ученика на экзамене», а в диалогах на пленуме воспроизводились отношения между «господином и рабом».

Ещё одним спектаклем такого рода стал январский пленум 1938 г., на котором Сталин устроил показательную «порку» П.П. Постышеву, где ему пришлось «каяться» в «ошибках» – выполняя указания Москвы, он руководил репрессиями в Куйбышевской обл., но теперь подвергся разносу за «избиение кадров».

В июле 1940 г. на пленуме ЦК пришлось признавать свои ошибки наркому юстиции СССР Н.М. Рычкову и генеральному прокурору СССР М.И. Панкратьеву, которых критиковали за слабое исполнение закона о трудовой дисциплине от 26 июня 1940 г. И хотя им учинили основательный разнос, а Панкратьева даже отстранили от должности, впоследствии они спокойно продолжали делать карьеру. Наконец, осенью 1945 г. Сталин устроил выволочку самому Молотову за слабый контроль за иностранными журналистами (S. 192–227).

Что касается «самокритики снизу» на предприятиях и в учреждениях, то их руководство, естественно, стремилось представить её как политическую оппозицию и антисоветскую пропаганду. Идеальный образец «самокритики снизу» описал немецкий журналист К. Мейнерт: во время собрания на одном из магнитогорских предприятий в 1934 г. 150 ударников обсуждали возможности улучшения производственного процесса, критиковали низкую квалификацию рабочих из числа крестьян, плохую организацию, но ни слова не сказали о тяжёлых условиях жизни (S. 250–254). Серьёзные поводы для «самокритики» появились в связи со стахановским движением. Сопротивление стахановским методам порой объявлялось местными партийными деятелями саботажем и вредительством, а директора в ответ жаловались, что лозунг «развертывания критики и самокритики» не всегда верно понимается (S. 256–257).

Автор отмечает что «сталинская технология “публичности” в первую очередь подразумевала формирование властного большинства и лишь во вторую – воспитательное воздействие. До конца 1930-х гг. Сталин рассматривал любое микрообщество, будь то школьный класс или рабочая бригада, как политический форум, где должна всё с новой и новой силой разгораться борьба между сторонниками и противниками режима». При этом Сталин болезненно воспринимал всякую «групповщину», т.е. спаянность коллектива, и потому для него любые сообщества, кроме «советского народа», были «неправильными». И если А.С. Макаренко считал исключение из коллектива крайней мерой, то участникам сталинских собраний для начала травли нужна была только команда сверху (S. 266–267).

Естественно, «самокритики» требовали не только от коммунистов, но и от беспартийных, в том числе от крупных деятелей культуры. Последние иногда пытались защититься от травли, составляя письма Сталину и другим видным лицам, но как только выяснялось, что нападки санкционировались Политбюро, демонстрировали готовность признать свои «ошибки» и даже «вину» и, конечно, «исправиться». Так, после разгромной статьи в «Правде» «Сумбур вместо музыки» Д.Д. Шостакович обратился к председателю Комитета по делам искусств П.М. Керженцеву, спросив, стоит ли написать покаянное письмо, но ему лишь предложили поездить по деревням России, Украины, Белоруссии, Грузии и собирать народные мелодии, а сто лучших из них оркестровать. Народные песни композитор оркестровать не стал, но его музыка к фильмам и пятая симфония вполне утроили руководство. В 1943 г. М.М. Зощенко, раскритикованный за повесть «Перед восходом солнца», обратился с письмом к А.С. Щербакову, выражая готовность признать «ошибки», однако его критика в печати продолжилась. В 1946 г. он написал Сталину и Жданову, доказывая свою лояльность и напоминая о собственных достижениях, и вновь тщетно (S. 306–308). Рассматривая эти и другие случаи, Эррен делает вывод: «Признание вины прежде всего воспринималось как жест покорности... Чаще речь шла

не о воспитании тех или иных деятелей культуры, а о демонстрации устрашающих примеров» (S. 311).

В пятой главе автор анализирует, как проходило признание вины в тюрьме и на суде (S. 327–371). В 1920-х гг., по мнению автора, служители Фемиды лишь в отдельных случаях воспринимали его как признак готовности исправиться. Однако этот вывод выглядит не вполне убедительным. Что касается политических процессов, то в 1920 г. на сфальсифицированном процессе «Тактического центра» обвиняемые выразили раскаяние, и первоначальный приговор им был значительно смягчён. Во время процесса правых эсеров в 1922 г. демонстранты не только требовали смерти для упорствовавших, но и просили пощады для раскаявшихся (не так будет в 1936–1938 гг.!). К отказу от «заблуждений» вынудили патриарха Тихона, который после этого вышел на свободу. Однако в целом, отмечает Эррен, «смысл ранних показательных процессов заключался, по сути, в “празднике” самовластного осуждения и приговора как такового – независимо от того, готовы были обвиняемые признаться или нет», «режиссура» большой роли не играла, хотя их поведение серьёзно влияло на меру наказания (S. 341).

В 1928 г. на процессе по шахтинскому делу не все подсудимые признали свою вину, но организаторов действа это не очень волновало, поскольку хватало данных о несчастных случаях, произволе начальства и т.д., которые суд толковал как вредительство (впрочем, на Западе всё равно сложилось впечатление о решающей роли признаний при вынесении приговора). В 1930 г. на процессе Промпартии уже судили тщательно отобранных обвиняемых, главный из которых, Л.К. Рамзин, сотрудничал со следствием, и суд занял две недели против семи по сравнению с «шахтинским делом». Все подсудимые капитулировали, а Рамзин еще и выразил надежду, что с позорным прошлым интеллигенции как оторванной от народа касты покончено. Примерно такая же ситуация сложилась во время процесса «Союзного бюро меньшевиков» в 1931 г., где из 20 обвиняемых 14 сотрудничало с обвинением (в обоих случаях никто не был расстрелян). В основных чертах с 1931 г. сталинские показательные процессы, считает Эррен, обрели свои окончательные формы (кроме одной – смертных приговоров всем или почти всем обвиняемым, как это будет в 1936–1938 гг.): «По-видимому, организаторы хотели не столько убедить сторонних наблюдателей в обоснованности версии государственного обвинения, сколько произвести глубокое впечатление демонстрацией единой воли всего советского общества, объединявшей кандидатов в смертники и прокуроров, палачей и жертв» (S. 348). От обвиняемых же требовались политическая капитуляция, убедительное признание вины и демонстрация работы над своим внутренним очищением, что они и делали. Возможно, видные большевики шли на это помимо прочего и потому, что считали, будто могут сослужить «последнюю службу» партии и стране – на деле же, конечно, они лишь играли на руку Сталину (S. 368).

Безусловно, Эррен собрал большой и интересный материал и предложил заслуживающее внимания его осмысление, проследив эволюцию «самокритики», разведя «самокритику» и покаяние, указав на их особенности в конкретных условиях. В то же время вывод о том, что практика покаяния никак не связана с христианской традицией, думается, не вполне верен: не стоит забывать, что Сталин, активно проводивший её в жизнь, был в юности семинаристом. Требует уточнения и тезис о том, что отсутствовал соответствующий термин для признания ошибок и более-менее ясно изложенная доктрина этого риту-

ала. Термин поначалу был – покаяние, однако Томский недаром высмеял его как церковный. Реплика Томского встретила положительный отклик у аудитории, что возымело эффект – это слово почти перестали употреблять. Однако ещё в третьем издании «Большой советской энциклопедии» речи Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова прямо названы покаянными[7]. Таким образом, слово осталось, но не афишировалось и произносилось как бы вполголоса. Что же касается доктрины, то её вроде бы действительно не было (непредсказуемость, как известно, вообще была важнейшей чертой политики Сталина). Однако, если сравнить последнее слово подсудимых на показательных процессах 1936–1938 гг., сходство бросится в глаза. Таким образом, хотя ритуал и не был эксплицитно оформлен, у него существовали достаточно жёсткие нормы и практики.

Перейдём теперь ко второй работе – основанной на богатом материале центральных архивов монографии О.В. Хлевнюка[8], которая венчает цикл прежних его книг, посвящённых истории сталинизма – «Сталин и Орджоникидзе. Конфликты в Политбюро в 1930-е годы» (М., 1993) и «Политбюро. Механизмы власти в 1930-годы» (М., 1996).

Автор начинает своё исследование с конца 1920-х гг., когда стала формироваться сталинская фракция (с. 24–83). В это время в Политбюро сохранялось коллективное руководство. Когда началась борьба с «правым уклоном», каждая из сторон старалась действовать осторожно, чтобы избежать обвинений в раскольничестве. При этом в группировке Сталина не было твёрдого единства взглядов – Орджоникидзе занимал явно примиренческую позицию, стараясь сохранить status quo в Политбюро. Однако генсек взял курс на вытеснение оппонентов с политического Олимпа и добился своего, используя допущенные ими грубые политические ошибки (достаточно назвать тайные встречи Бухарина с Каменевым и Сокольниковым, закончившиеся скандалом в начале 1929 г.). Сыграло, видимо, свою роль и то, что Сталин смог принудить к подчинению М.И. Калинина и Я.Э. Рудзутака, на которых у него именно в этот момент появились материалы об их слишком откровенных показаниях в царской полиции. Любопытно, что, устраивая встречи со «своими» у себя на квартире, он действовал чисто фракционными методами, в которых сам обвинял «правых». Это быстро подметили окружающие: обвинение генсека в подобной практике прозвучало из уст кандидата в члены Политбюро С.И. Сырцова. При этом последний не был принципиальным противником сталинского курса, какими во многом показали себя Бухарин, Рыков, Томский и их сторонники, выступившие против политики репрессий по отношению к крестьянству, – он предлагал лишь более умеренные темпы той же линии на индустриализацию и коллективизацию, которую проводил Сталин (последнему вскоре пришлось под давлением обстоятельств volens nolens последовать рекомендациям Сырцова). Сырцов и его сторонники рассчитывали на поддержку тех партийцев, которых возмутила попытка Сталина переложить ответственность за «перегибы» во время коллективизации на местных функционеров.

В тот момент ещё не было уверенности в прочности первенствующего положения генсека. По мнению автора, «укреплению единоличной власти Сталина Сырцов и его сторонники противопоставили традиции “коллективного руководства” и внутрипартийного “демократизма”, точнее говоря, некое иде-

[7] БСЭ. Изд. 3. Т. 23. М., 1976. Стб. 716.

[8] *Хлевнюк О.В.* Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010.

альное мифическое представление об этом “демократизме”», предполагавшее «первенство пленумов ЦК по отношению к лидеру партии». «Я покушаюсь не на руководство, а на принцип непогрешимости руководства», – заявил Сырцов (с. 67). Очевидно, на поддержку пленума он и рассчитывал. Однако ему, выданному провокатором, пришлось давать объяснения на Политбюро, а не в ЦК, и его партия оказалась проигранной (с. 57–72). Виртуозно организовал Сталин и смещение А.И. Рыкова с поста председателя СНК. Сначала после келейных совещаний своей фракции он добился ликвидации такого влиятельного органа, как Совещание замов, а затем руками своих сторонников, внешне не вмешиваясь, провёл решение о снятии Рыкова (с. 72–82).

Началась реорганизация Политбюро, отразившая тенденцию к сращиванию партийной и правительственной власти – в состав СТО СССР были включены почти все члены Политбюро, создана совместная валютная комиссия СНК и Политбюро, и т.д. Внутри сталинской группы сохранялись остатки традиций коллективного руководства. В решении текущих вопросов обладал определённой автономией «второй секретарь» (В.М. Молотов, затем Л.М. Каганович), сохраняли какое-то влияние и другие члены Политбюро, хотя многие из них, работавшие на местах (С.М. Киров, С.В. Косиор и др.) появлялись в Москве лишь эпизодически, а Я.Э. Рудзутак из-за частых болезней и вовсе чем дальше, тем больше отходил от дел (с. 95–101). Конфликты в Политбюро носили не принципиальный, а в основном ведомственный характер – Куйбышев отстаивал интересы Госплана, Орджоникидзе – Наркомтяжпрома, Киров – Ленинграда и Ленинградской обл. и т.д. Сталин выступал в роли арбитра; характерно при этом, что он не принял пост предсовнаркома, взять который предлагали ему его сторонники перед смещением Рыкова – это позволяло ему сохранять положение стороннего наблюдателя, который мог влиять на всё не отвечая ни за что, и разыгрывать «антибюрократическую» карту, критикуя ведомства за заботу о собственных интересах в ущерб государственным. Вместе с тем ему приходилось считаться со своими соратниками, которые время от времени угрожали отставкой, как это делали в своё время и Ленин, и он сам (с. 75–79, 104–106, 126–127).

В условиях срывов в ходе первой пятилетки Сталину пришлось идти на смягчение прежнего курса в промышленности. Хлевнюк считает, что эти «мини-реформы» не были результатом конфликта между Сталиным и Орджоникидзе, как иногда считается, а являли собой результат согласованной политики. (Заметим, что этому, однако, мог предшествовать если не конфликт, то споры между ними, не зафиксированные документально – разницу акцентов в выступлениях обоих по данному поводу отмечает и сам автор.) При этом уступки генсека экономической целесообразности («кризисный прагматизм») были запоздалыми и ограниченными (с. 112–125).

Сталин пошёл на уступки и в вопросе о коллективизации. Статья «Головокружение от успехов» не внесла успокоения, ибо не решала вопроса об уже созданных колхозах – пик волнений в деревне пришёлся на март 1930 г., в них приняло участие, по оценке автора, 1.5–2 млн крестьян (45% всех выступлений произошло на Украине). Селяне массами выходили из колхозов, разбирали имущество, восстанавливали межи, а то и оказывали вооружённое сопротивление властям. Однако волнения носили локальный характер, попытки объединения имели малый успех и вскоре оказались подавлены, тем более что восставшие вели себя куда более миролюбиво, чем власти (с. 32–44).

В первые месяцы 1932 г. власть пошла на послабления. Однако уже осенью начался голод. Почему руководство не захотело помочь крестьянам? Ведь по состоянию на 1 июля 1933 г. имелся резерв по меньшей мере в 1 млн т зерна. Хлевнюк отмечает, что к этому времени усилилась военная угроза на Дальнем Востоке, что потребовало дополнительных расходов на оборону. Нужно было также вносить платежи по краткосрочным иностранным займам. Сыграла свою роль, конечно, и общая антикрестьянская направленность политики большевиков. Автор отмечает, что Украина и Северный Кавказ, давшие в 1931 г. 46% поставок зерна, в 1932 г. обеспечили лишь 33%, т.е. на $^{2}/_{5}$ меньше. Это восприняли в Кремле как саботаж, виновные в котором не заслуживали снисхождения. К тому же как раз тогда началась борьба с «буржуазным национализмом», в том числе и «украинизацией», а потому украинцам власти не хотели помогать в особенности, что, однако, не равнозначно геноциду (с. 151–153).

Нарастали и прямые репрессии. Проводились облавы в городах, в том числе в Москве. Однако карательная машина не справлялась с потоком арестованных, ярким свидетельством чего стала трагедия на о. Назино в Западной Сибири, где за короткий срок умерло из-за тяжёлых условий пребывания 1.5–2 тыс. сосланных. Дезорганизация карательной машины наряду с экономическими трудностями стала одной из причин смягчения курса в 1933–1934 гг. Ещё в 1930-х гг. возникла легенда о том, что в тот момент якобы взяли верх сторонники «мягкого курса» во главе с Кировым. Как и в прежних своих работах, Хлевнюк настаивает на том, что споры носили сугубо ведомственный характер, другое дело, что тот же Орджоникидзе, исходя из интересов своего наркомата, объективно оказался противником усиления террора, завышенных темпов развития и т.п., хотя раньше, будучи главой ЦКК, придерживался совершенно иной точки зрения. В любом случае никаких группировок в Политбюро не было (хотя при решении тех или иных вопросов голоса, разумеется, разделялись), а последнее слово оставалось за Сталиным (с. 153–176).

Новый курс предполагал более умеренные темпы экономического развития и ослабление (но не прекращение) репрессий. Были восстановлены в партии и даже допущены на трибуну XVII съезда (пусть и для покаянных речей) Зиновьев, Каменев, Преображенский и другие оппозиционеры, что многие партийцы восприняли как признак либерализации. Политбюро ещё сохраняло остатки самостоятельности, что продемонстрировало дело о погрузке некомплектных комбайнов, решение о котором приняли в отсутствие Сталина (последний, правда, добился его пересмотра). Однако об ослаблении его власти накануне убийства Кирова, о чём нередко писали, говорить не приходится: Киров самостоятельной политической роли не играл, да и особой склонности к умеренному курсу у него (как и у Куйбышева) не наблюдалось. В 1933–1934 гг. была проведена реорганизация Политбюро, упростившая процедуру его деятельности: решения этого органа теперь нередко принимались без голосования (с. 177–205).

Обстановка стала меняться после убийства Кирова, но достаточно медленно. Вновь начали нарастать репрессии, хотя всё же следует иметь в виду, что в «большой террор» они превратились только через два с лишним года. Пока удары наносились лишь по бывшим оппозиционерам, а затем пошли кампании по проверке и обмену партийных документов, означавшие подготовку к усилению репрессий внутри партии. Начались «чистки» в Ленинградской обл., в Азербайджане, на Северном Кавказе, направленные против как «кулаков»,

так и представителей некоторых национальностей; усилились репрессии против терроризировавших города беспризорников, умножившихся в результате социальной политики правительства. Но наряду с этим проводились кампании «социального примирения» – именно тогда прозвучала фраза «Сын за отца не отвечает». Было принято решение «О снятии судимости с колхозников», начался пересмотр ряда дел по закону «о пяти колосках», возвращены права части «лишенцев», прежде всего их детям. Активно развивалось хозяйство на приусадебных участках колхозников, что способствовало некоторому подъёму сельскохозяйственного производства. В промышленности наметилось оживление из-за роста материального стимулирования труда, некоторого расширения прав хозяйственных руководителей и др. (с. 232–249).

Между тем Сталин всё больше прибирал к рукам Политбюро, постепенно лишая его членов самостоятельности. Введение в его состав А.И. Микояна, В.Я. Чубаря, А.А. Жданова и других политического значения не имело и обуславливалось формальной процедурой заполнения вакансий. Фактически исчез пост негласного второго секретаря ЦК, обязанности которого оказались разделены между несколькими секретарями. Заявлений об отставке, ультиматумов по поводу ведомственных интересов и т.д., как в начале 1930-х гг., члены Политбюро себе уже не позволяли. Однако полностью свои позиции они ещё не сдали, о чём свидетельствует дело А.С. Енукидзе, ставшее ударом Сталина по «ближнему кругу». Енукидзе явно пользовался поддержкой кое-кого из членов Политбюро и, поначалу исключенный из партии, в 1936 г. был в ней восстановлен – очевидно, не без их участия, и лишь в 1937 г. арестован, но это произошло уже в другой обстановке (с. 249–258).

О грядущих переменах свидетельствовало введение в Политбюро Н.И. Ежова, предназначенного генсеком для особых поручений. И, как показал процесс Зиновьева – Каменева в 1936 г., он с ними справлялся, за что и был поставлен во главе НКВД. Правда, он не сразу понял, что Сталин желает устроить новые показательные процессы, и поначалу высказался против них, но потом быстро «исправил» эту «ошибку». Одновременно началось наступление на Орджоникидзе, о чём свидетельствовали аресты его брата Павла (Папулии), заместителя Г.Л. Пятакова и др. Серго старался спасти подчинённых, но противостоять «органам» было всё труднее. Его последним отчаянным шагом в этой борьбе и стало самоубийство. Другие же члены Политбюро активно поддержали политику нараставших репрессий (с. 259–286).

В 1937 г. начинается «большой террор». «Большим» он стал, по мнению Хлевнюка, «тогда, когда репрессии затронули широчайшие слои населения страны, т.е. в августе 1937 – ноябре 1938 г.». Судя по документам, это была серия «целенаправленных и спланированных централизованных операций». От карательных акций начала 1930-х гг. они отличались «не только масштабами..., но и особой жестокостью, прежде всего массовыми расстрелами» (с. 288). Здесь, думается, нужны оговорки. Конечно, расстрелы в 1929–1933 гг. не носили столь массового характера, но один только голод унёс по самым скромным подсчётам не менее 3 млн жизней (умерших в результате высылок в отдалённые края сосчитать невозможно), тогда как в 1937–1938 гг. погибло менее 700 тыс. человек (см. ниже; к ним следует, правда, добавить умерших в заключении). Если учесть, что значительная часть умерших от голода могла бы выжить, если бы власть этого захотела, то цифры оказываются вполне сопоставимыми. Но факт голода скрывался, тогда как в 1937–1938 гг. репрессии

активно «рекламировались». Самое же главное – они затронули тех, кто верно служил власти. Необъяснимость репрессий пугала, по-видимому, едва ли не больше, чем их жестокость.

В историографии высказывались самые разные соображения о причинах террора. В их числе – обострение международной обстановки и в особенности опыт гражданской войны в Испании, решение о вмешательстве в которую совпало с назначением Ежова наркомом внутренних дел. Сталин прямо заявил по поводу «заговора военных», что они «хотели [из] СССР сделать вторую Испанию». Идея борьбы с «пятой колонной» звучала постоянно.

Чистке подверглись представители национальных меньшинств (корейцев, немцев, поляков и др.), бывшие дворяне, царские офицеры, полицейские, «кулаки», уголовники и, конечно, оппозиционеры. Однако затронула она даже тех партийцев, кто ни в каких оппозициях не состоял, но помнил о ленинском завещании, провалах «генеральной линии» и т.д. Сталин неустанно боролся с теми, кто пытался приводить с собой на новые места работы прежних сотрудников, видя в них группы влияния, обеспечивавшие руководителям определённую независимость. Он открыто критиковал такую практику и старался тасовать кадры, и террор стал в этом деле важнейшим методом (параллели с «перебором людишек» Иваном Грозным напрашиваются сами собой). Борьба с «кулаками» была попыткой решить социальную проблему бывших ссыльных, которые не только возвращались домой, но и порой добивались возврата части имущества и восстанавливали своё влияние в деревнях. Власти такое положение дел, понятно, не устраивало. К середине 1937 г. стали фабриковаться дела, в которых заговоры бывших оппозиционеров и «номенклатуры» стали соединяться с «заговорами» более широких слоёв «антисоветских элементов».

Всё это сопровождалось расширением прав НКВД, фактическим узаконением пыток; Ежов даже заявил (правда, на совещании, а не публично), что если «будет расстреляна лишняя тысяча людей – беды в этом особой нет». Сам Сталин внимательно следил за репрессиями, не только просматривая спецсообщения Ежова, которых получал примерно по 20 в день, участвуя в подготовке процессов, подписывая «расстрельные» списки и т.д., но и угрожая тем руководителям, которые недостаточно энергично боролись с «врагами народа». А.А. Андреев, Л.М. Каганович и другие члены Политбюро разъезжали по стране, требуя на местах большей активности в деле выкорчёвывания «врагов». Это, конечно, не отменяло «стихийности», ставшей одной из причин превышения лимитов на аресты и казни, чрезвычайно большого числа людей, убитых на допросах, расстрелов (очевидно, для заметания следов) уже после решения о прекращении массовых операций (с. 287–322).

Одновременно проводилась «мобилизация бдительности» – проходили митинги с требованием расправ, устраивались открытые судебные процессы, газеты пестрели рассказами о шпионах и вредителях. Сталин стремился изобразить репрессии как борьбу с «разложившимися» бюрократами, и хотя даже тех, кто таковыми был на деле, судили по сфабрикованным обвинениям, многие (особенно на селе) воспринимали их наказание как справедливое, поскольку речь шла об активных соучастниках преступлений власти – коллективизации, голода, прежних репрессий и др. (с. 322–328). Хлевнюк приходит к выводу, что население в основном либо верило в обоснованность репрессий (не исключая, конечно, возможности «перегибов»), либо делало вид, что верило. Однако кое-кто осмеливался протестовать. Люди не только носили посылки арестованным

родственникам, что считалось пособничеством врагу, но и прямо выражали недоверие органам НКВД, а на партийных собраниях, где их пытались заставить покаяться (здесь налицо прямая перекличка с книгой Эррена), отказывались это делать несмотря на угрозу исключения из партии, которое вслед за этим нередко и происходило.

Другие же писали доносы. Автор высказывает довольно неожиданное суждение, что доносы не сыграли большой роли в терроре, ибо органы и так имели немало кандидатур для «разработки» (с. 382–395). Однако здесь необходимы важные оговорки: возможно, численно жертвы доносов составляли меньшинство арестованных (статистика на сей счёт в книге приводится очень выборочная), но роль доносам отводилась немалая. Сама их возможность позволяла держать людей в психологических тисках. И недаром многие из тех, кто пережил сталинское время, не проявляли склонности к разговорам на «скользкие» темы и десятки лет спустя. К тому же доносы, до поры до времени не получившие хода, могли быть использованы позднее (с. 332–338).

Что касается Ежова, то его роль была совершенно несамостоятельной. Раздувание его популярности (не помешавшее Сталину не появиться на торжественном заседании в честь 20-летия органов ВЧК–ОГПУ–НКВД) имело вполне определённую цель – свалить на него ответственность за репрессии после прекращения «большого террора» (с. 338–348). В ноябре 1938 г. началась чистка НКВД от людей Ежова. В её ходе оказались уволены 7372 оперативно-чекистских сотрудника (22.9% списочного состава), из которых подверглось аресту только 937. Поначалу партийные органы и прокуратура очень энергично взялись за борьбу против беззаконий в НКВД, однако довольно скоро и тем, и другим дали понять, что их активность неуместна – Сталин хотел сохранить костяк «органов». Многих видных сотрудников госбезопасности направили на работу в партийные органы, но и оттуда в НКВД попало немало партийных кадров. Постепенно была спущена на тормозах и борьба с доносчиками. Произошла определённая стабилизация ГУЛАГа (некоторое улучшение материального обеспечения, поощрение ударников и т.д.) с целью повышения экономической эффективности лагерного труда. Если же говорить о последствиях террора, то, как отмечает Хлевнюк, они были очень тяжёлыми: в 1937–1938 гг. органы НКВД (без милиции) арестовали более 1.5 млн человек (81% – по политическим статьям), из них более 681 тыс. были приговорены к расстрелу, причём эти цифры, возможно, занижены на несколько процентов. Если в 1926 г. темпы прироста объёма промышленного производства составили по официальным данным 28.7%, то в 1937–1938 гг. – 11.2% и 11.8% соответственно. Из-за гибели значительной части командного состава «опасные размеры приобрела дезорганизация армии». Причём, как полагает автор, эти и многие другие последствия террора недостаточно изучены, а порой и не осознанны (с. 320, 349–397).

Важнейшим последствием большого террора стала новая система власти, в которой исчезли остатки коллективного руководства. Репрессии затронули даже Политбюро – первым из его состава (независимо от причин гибели) выбыл Орджоникидзе, за ним последовали Рудзутак (Сталин много говорил о его неспособности к работе из-за слабого здоровья, но при этом оставил на своём месте отнюдь не бодрого Калинина) и П.П. Постышев.

Последнего ещё до февральско-мартовского пленума 1937 г. обвинили в мягкотелости по отношению к «врагам», но на самом пленуме его речь выслушали спокойно. Однако затем ему припомнили, воспользовавшись посту-

пившим доносом, что в 1910 г. он написал царским властям унизительное прошение о смягчении приговора, и Постышеву пришлось каяться за сокрытие сего факта от партии. Затем, как уже говорилось, он руководил репрессиями в Куйбышевской обл., после чего его обвинили в «провокационном» «избиении кадров» и на январском пленуме 1938 г. подвергли публичной «порке». Если Лоррен считает, что Постышеву, чтобы добиться снисхождения, следовало более решительно осудить своё поведение, то по мнению Хлевнюка, наоборот, именно после того, как Постышев начал каяться и осуждать себя, он попал в ещё более невыгодное положение, ибо теперь выглядел «не упорствующей жертвой, способной вызвать сочувствие, а раскаявшимся грешником, получившим по заслугам».

Думается, что в любом случае судьба Постышева была решена, и как бы он себя ни вёл, ничего хорошего его не ждало. Если бы он отказался признать обвинения, то тем более навлёк бы на себя гнев как «неразоружившийся враг». Но нельзя не признать справедливости замечания Хлевнюка, который указывает, что мало с кем «Сталин вёл столь длительные игры». С Р.И. Эйхе, а также членами Политбюро С.В. Косиором и В.Я. Чубарём расправились без подобной подготовки. Лёгкость, с которой Сталин уничтожал даже столь высокопоставленных людей, обуславливалась не в последнюю очередь их разобщённостью. При этом репрессиям подверглись члены и кандидаты в члены Политбюро «второго эшелона», ибо расправа с теми, кто стоял слишком близко к «вождю», неизбежно бросила бы тень и на него самого. Молотов даже позволял себе некоторую независимость в суждениях, но не более того – ни о каком ослаблении власти Сталина к концу Большого террора, о чём иногда пишут, говорить не приходится. В состав Политбюро на место выбывших вошли Г.М. Маленков, Л.П. Берия, Н.С. Хрущёв и другие – Сталин мотивировал это необходимостью омоложениия кадров. После смерти «вождя» именно между этими тремя начнется борьба за наследство Сталина (с. 398–426).

Само Политбюро фактически прекратило существование. Решения всё чаще принимались не в ходе совместных заседаний, а опросом, и именно таким образом 5 апреля 1937 г. оказалось принято постановление «О подготовке вопросов для Политбюро ЦК ВКП(б)». В соответствии с ним, под предлогом нарастания объёма работы создавались две группы из пяти человек (по хозяйственным и секретным делам), которые получали право не только подготавливать вопросы, но и принимать по ним решения (формально лишь «в случае особой срочности»). По сути, группы подменяли собой и Секретариат, и Политбюро. Сталин, Молотов, Ворошилов и Каганович входили в состав обеих пятёрок, которые позднее вообще слились. Любопытно наблюдение автора, что в состав одной из комиссий входил Ежов, который стал кандидатом в члены Политбюро вообще лишь в октябре 1937 г. Само же Политбюро почти в полном составе (а также в присутствии группы членов ЦК) с июня 1937 г. и до начала войны заседало, судя по протоколам, только 10 (!) раз. При этом деятельность пятёрок не означала возвращения к коллективному руководству – они являли собой лишь совещательный орган при генсеке (всё это, к слову сказать, напоминает практику «всеподданнейших докладов» при последних Романовых). В ведении Политбюро остались кадровые и идеологические вопросы, решения по которым готовили руководители соответствующих отделов ЦК Маленков и Жданов, и Сталин прямо заявил, что такой порядок эффективнее, нежели заседания Политбюро (с. 426–432).

Реорганизация затронула и союзный Совнарком. В апреле 1937 г. был создан Комитет обороны, заменивший собой прежнюю Комиссию обороны и имевший более обширный аппарат. Инспекция комитета, следившая за исполнением его решений, заменила ликвидированные отдел обороны Госплана и группы военного контроля при Комитетах партийного и советского контроля. В ноябре 1937 г. возник Экономический совет, действовавший на правах постоянной комиссии СНК. В марте 1941 г. выросло число заместителей председателя СНК, были упразднены хозяйственные советы при СНК, создано Бюро СНК, на которые оказались возложены функции оперативного хозяйственного руководства. По сути, Бюро взяло на себя часть функций Комитета обороны и Экономического совета и стало обзаводиться постоянными комиссиями. Сталин назначил заместителем главы Совнаркома в обход старых членов Политбюро Н.А. Вознесенского и явно противопоставлял его Молотову, нападки на которого продолжались: если в январе 1941 г. Сталин критиковал руководство СНК за парламентаризм, т.е. склонность к заседаниям, то в апреле, наоборот – за оперативное принятие решений опросом. В мае, как известно, он, наконец, сам занял пост главы СНК, в отличие от 1930 г. ни с кем это решение не обсуждая. Заместителем Сталина по Секретариату ЦК стал Жданов. Внешне, считает Хлевнюк, это напоминало ленинскую модель «руководства партией-государством. Однако на самом деле высшие советские руководители никогда ранее не находились в столь значительной зависимости от вождя партии». Это снизило дееспособность системы, поскольку её функционеры лишились самостоятельности в решении даже оперативных вопросов, но стало важным элементом диктатуры (с. 432–444).

Однако война внесла свои коррективы – всеобщая централизация «совмещалась с некоторым расширением оперативной самостоятельности управленцев всех уровней», что свидетельствовало о возрождении элементов коллективного руководства. Что же касается централизации, то СНК, Политбюро и созданный в июне 1941 г. Государственный комитет обороны работали как единое целое. Напрашивается (хотя и не звучит) вывод о том, что в условиях военной опасности Сталину пришлось смириться со столь ненавистной ему «групповщиной», ибо без спаянных, сработавшихся коллективов эффективная деятельность была невозможна. Но временами он напоминал о том, кто в доме хозяин, устроив в 1942 г. разнос явно не справлявшемуся Ворошилову, а в 1944 г. и вовсе выведя его из ГКО. Тогда же, в 1944 г., получил крепкий нагоняй Микоян, осмелившийся просить о выделении семян для сева на Украине. Отошли на второй план Жданов и Вознесенский. Напротив, упрочились позиции Молотова и Берии.

После войны была проведена «демобилизация» власти, означавшая перемены в составе ближайшего окружения Сталина, а в целом – новое ослабление влияния членов Политбюро в целях борьбы с «олигархизацией». Одним из способов перетряски верхов стало кровавое «ленинградское дело». В 1952 г. Сталин публично дискредитировал Молотова и Микояна на пленуме ЦК (здесь автор усматривает параллель с «Письмом к съезду» Ленина, раскритиковавшего виднейших деятелей партии, хотя характер этой критики у Ленина, заметим, был куда мягче). Но как бы Сталин ни боролся с элементами «олигархизации», сама система воспроизводила их, и диктатор оказывался в этой системе, в общем-то, лишним, что и объясняет сравнительно лёгкий переход к коллективному руководству после смерти «вождя».

В заключение автор указывает, что случившееся в СССР при Сталине во многом обусловливалось традициями большевистской партии (антидемократизм, склонность к репрессиям и т.п.), однако исключительные даже по большевистским меркам нетерпимость и жестокость «вождя» также сыграли свою роль (добавим к этому: его некомпетентность и примитивность мышления). «Реальный сталинизм был избыточно репрессивным. Причём его крайности и эксцессы были излишни даже с точки зрения потребностей диктатуры, а поэтому не только не усиливали, но ослабляли её. Только такая исключительно богатая ресурсами страна, как СССР, могла выдержать модернизацию в сталинском варианте... Насущная задача модернизации решалась бы более действенно и с меньшими жертвами без Сталина» (с. 445–463). Спорить с этим не приходится, но вновь уточним: *могла* решаться с меньшими жертвами, ибо не исключено, что на его месте оказался бы ещё менее компетентный и более склонный к насилию руководитель.

Что роднит рассмотренные монографии, так это тщательная работа с источниками и, что не так уж часто встречается в историографии истории СССР, научной литературой. Авторы не гонятся за сенсациями, а кропотливо анализируют материал, и в сумме это даёт очень добротный результат. На примере работы Эррена мы видим, как велось подавление личности при Сталине, причём в формах, совсем не обязательных даже с точки зрения самой диктатуры – Гитлер, например, прекрасно обходился без публичных «покаяний» нижестоящих. Хлевнюк же показывает развитие всей системы, куда был встроен механизм, о котором мы читаем у Эррена. Обе книги прекрасно дополняют друг друга, и будем надеяться, что в ближайшие годы мы увидим монографию Эррена на русском языке.